

**Михаил Николаевич Волконский**

## **Вязниковский самодур**

**Москва  
Книга по Требованию**

УДК 82-311.3

ББК 84-4

**Михаил Николаевич Волконский**

Вязниковский самодур / Михаил Николаевич Волконский – М.: Книга по Требованию, 2011. – 90 с.

**ISBN 978-5-4241-2912-4**

В основе произведений одного из самых известных беллетристов начала XX века князя Михаила Николаевича Волконского - "неофициальная история" XVIII столетия, сплетающаяся из множества скандальных историй, дворцовых тайн, приключений и мистики. Интриги, власть, коварство, любовь и деньги - неизменные составляющие его авантюрно-приключенческих романов.

**ISBN 978-5-4241-2912-4**

© Издание на русском языке, оформление, «  
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «  
Книга по Требованию», 2011



# I

Князь Гурий Львович Каравай-Батынский, бывший при государыне Екатерине «в случае», но недолго, награжденный богатыми именьями, проживал в добровольной ссылке в своем родовом поместье — Вязниках. Вкусив от опьяняющего зелья власти, он не захотел, не удержав своего достоинства, вернуться вновь в ряды обыкновенных царедворцев и, уехав в свои Вязники, поселился там, как говорил он, навсегда.

Вязниковский дом отстроил он заново по планам Растрелли, сделал из него дворец, окружил огромным парком, собрал вокруг себя мелкопоместных дворян и создал себе из них нечто вроде придворного штата. У него были два камергера, пять камер-юнкеров, один шталмейстер и целый полк камер-лакеев, гоф-фурьеров и арапов, в которых, за неимением настоящих, он красил крепостных Филек и Прошек.

Для гостей существовал целый флигель, и всякий, кто желал, мог пожаловать на даровые хлеба к расточительному князю. Впрочем, говорили, что его богатство таково, что невозможно прожить его одному человеку. Многие жили во флигеле недели по три, не представляя хозяину из боязни обеспокоить его или, главное, не понравиться ему.

Балы, роскошные пиры, спектакли собственной балетной и драматической труппы, охоты, рыбные ловли и пикники с потешными огнями и хитрыми иллюминациями не прекращались в Вязниках.

Иногда, хотя это и редко бывало, князь Гурий Львович в самый разгар какого-нибудь праздника вдруг вставал с золоченого кресла, в котором имел обыкновение сжигать, и громким голосом кричал во всю мочь:

— Убирайтесь вы все вон!.. Надоели!..

Тогда гости вперегонку разбегались — никто не желал остаться последним. По обычаю князя последнего обливали тут же в зале, будь то кавалер или дама, ушатом воды. Разбежавшись, гости спешили по домам.

Проходило некоторое время, отдыхал князь, как говаривал он, от суеты мира и светского шума в кругу своих преданных рабов и рабынь — и снова во все стороны летели гонцы собирать гостей к княжескому столу. И гости находились, съезжались, наполнялся флигель, и опять начиналась прежняя шумная жизнь в Вязниках.

От Вязников жалованные поместья князя тянулись почти на полторы губернии без перерыва.

Дороги у него были как бархат и содержались в безукоризненной исправности, но на всех въездах во владения Каравай-Батынского стояли рогатки и заставы, проехать через которые можно было только с особого разрешения самого князя. Надо было подать ему прошение об этом, выждать милостивой резолюции, и если таковая следовала, то тогда можно было ехать безвозбранно.

Недоразумений из-за этих рогаток происходило многое множество вследствие обширности княжеских земель, в силу чего число проезжих было большое. Однако исключений не делали ни для кого.

Раз проезжала важная персона из Петербурга, но и ее не захотели пропустить через заставу без дозволения князя. Она начала так браниться, что караульный

оробел и поднял шлагбаум. Он оправдывался потом тем, что персона, по всей видимости, была очень важная, потому что бранилась уж очень крепко. Однако, едва успела проехать коляска с персоной, выскочил начальник караула из караульного дома и опустил шлагбаум как раз в то время, когда под ним проезжал тарантас с камердинером персоны. Шлагбаум ударил того по лбу, и так сильно, что беднягу подняли замертво.

Пока начались об этом дело и следствие, караульный мужик, поднявший шлагбаум проезжему, не имевшему княжеского пропуска, был привязан на три дня по приказанию князя к этому самому шлагбауму и, лишенный воды и пищи, должен был волей-неволей то подниматься на воздух, то опускаться, чтобы знал вперед, как быть ослушником господской воли.

Для расследования по этому делу был нарочно прислан из Петербурга доверенный чиновник.

Получив об этом известие, князь разогнал немедленно всех гостей от себя и призадумался. Дело выходило нешуточное. Оно грозило серьезными последствиями.

В губернский город, куда уже прибыл чиновник, был послан от Каравай-Батынского уполномоченный, получивший приказание не скупиться на деньги. Петербургский чиновник не выдержал: взял предложенные ему пятьдесят тысяч рублей, отослал их жене и детям, а сам застрелился.

## II

Вскоре после этого случая, благодаря которому князь Гурий Львович окончательно перестал уже различать границы между самоуправством и самовластием, к рогатке на рубеже его имений подъехала тройка ямских лошадей. В тарантасе сидел не старый, но не молодой уже человек в военном сюртуке. Лицо у него было загорелое, сложение сильное, руки огромные. Роста он был высокого.

— Какой еще пропуск нужен, коли я еду с царским паспортом? — ответил он на требование от него особого пропускного княжеского листа и, выйдя из тарантаса, преспокойно оттолкнул сторожа, после чего с такою легкостью сорвал железную скобу, точно она была оловянная.

Сторож, тот самый мужичонка, что три дня болтался привязанный к шлагбауму, видя столь решительные действия со стороны проезжего, кинулся ему в ноги и стал молить, чтобы тот не губил его, что если проедет он через заставу силой, то несдобровать ему, бедному мужичонке.

Проезжий смиростивился, улыбнулся и спросил только:

— Как же теперь быть?

— Позволь, батюшка, кормилец милостивый, отвести тебя под конвоем в княжеский дом, — стал просить мужичонка. — Обиды тебе никакой не будет. Отведу тебя и дам с рук на руки, честь честью, и вечно Бога молить стану...

— Ну, а конвоиром-то ты будешь? — снова улыбнулся проезжий.

Мужичонка приосанился.

— Я самый, милостивец!..

— Ну, веда, дурья голова! Посмотрим, что из этого выйдет...

Мужичонка опять поклонился ему в ноги и, выпрямившись, важно зашагал с дубинкой в виде оружия за огромным, коренастым, сильным человеком, способным, казалось, убрать одним махом десятерых таких, каков был он сам. Тройка поехала сзади шагом.

Князь, окруженный гостями, сидел на террасе, когда ему пришли доложить, что сторож Трофимка привел от заставы под конвоем проезжего, который желал послушаться его княжеской воли.

— Ну, ведите сюда этого ослушника! — приказал князь. — Мы разберем это дело.

Огромная терраса с вычурными фигурными колоннами была завешена полотном с солнечной стороны. В тени сидел князь в золотом кресле, окруженный своими приспешниками. У кресла стояли дежурные камергер, камер-юнкер и секретарь, а сзади — огромный гайдук Иван, любимец князя, выходивший один на медведя с рогатиной. Пред князем на столике были цветы, вино в хрустальных кувшинах и фрукты. Гости держались в стороне, в отдалении. Сидели из них очень немногие; большинство садиться не смело.

От террасы вниз к реке шла широкая лестница уступами, с засаженными цветами площадками; по бокам лестница была украшена большими вазами, полными пахучих цветов. За рекою виднелись поля с полосой синего леса вдаль.

Когда ввели арестованного Трофимкой «ослушника», все — и князь, и гости — ахнули от удивления: каким образом лядящий мужичонка мог силой привести такого огромного человека? Но князь рассудил по-своему, поняв дело так, что

проезжий приведен сюда не силой Трофимки, а страхом пред его, князя Каравай-Батынского, могуществом.

— Кто ты такой, что смел выказать намерение послушаться моих приказаний? — спросил он, развалившись в кресле.

Проезжий осмотрелся кругом, как бы ища места, куда присесть, но, не найдя свободного стула, обратился к князю и ответил, явственно произнося каждое слово:

— Я — такой же, как и ты, дворянин, Александр Ильич Чаковнин, а вот когда мы с тобой на «ты» побратались, этого я не упомяну хорошенько.

Между гостями произошло смятение. Дежурные камергер и камер-юнкер отступили шаг назад. Никто не подозревал, что можно разговаривать с князем так дерзко.

— Вот ты как отвечать умеешь! — проговорил Каравай-Батынский. — Ну, хорошо, голубчик, мы поучим тебя вежливости... Отведи-ка, Ваня, его в отдельную, пусть посидит на хлебе и воде!.. Это нрав злостный укрощает, говорят! — и князь, чтобы успокоить свое сердце, отпил из хрустального бокала большой глоток вина.

### III

Едва двинулся гайдук Иван со своего места, как Чаковнин схватил с подвернувшегося ему под руку столика мозаиковую крышку и замахнулся ею.

— Подойди только — голову расшибу!.. Слушай, князь, — заговорил он, обратившись к Каравай-Батынскому. — Пришел я к тебе добровольно — сам можешь судить, что не мужичонке хилому привести меня сюда — значит, я твой гость, а с гостями так не обходятся. Холопа твоего я на месте уложу, если он посмеет еще шаг ступить. А тебе вот что скажу: или ты за оскорбление, как подобает дворянину, разведешься со мной на честном поединке, или удовлетворишь меня извинением, или же я пушу в тебя сейчас этой крышкой, будь спокоен — без промаха, ловко придется.

Он слегка пригнулся и держал крышку наотлет так, что целил ею прямо князю в голову.

Уж очень большая решимость виделась во всей его фигуре, и глаза блестели так гневно, что можно было поверить, что он готов в самом деле исполнить свою угрозу.

Гайдук Иван, не щадя живота своего, кинулся было на защиту своего господина, но, по счастью, князь спохватился.

— Куда ты прешь, Иван? — крикнул он. — Или не видишь, что господин не шутит?.. Мне тебя не жалко, мне жалко мозаичной крышки. Я ее из Италии написал, а он ее разобьет. То есть нет у этих холопей никакого уважения к предметам искусства! — С этими словами он встал, подошел к Чаковнину и, шаркнув ногою и изогнув спину, сделал приветственное движение рукою, говоря: — Государь мой, милости прошу вас как гостя остаться у меня, ибо вижу, что имею дело с достойным человеком и дворянином.

Чаковнин положил крышку на место и в свою очередь поклонился, сказав:

— Вот такое обращение, князь, нам с вами гораздо более приличествует.

Каравай-Батынский повел его к своему столу. Один из гостей сейчас же схватил свой стул, перенес его и поставил для Чаковнина.

— Табачку не угодно ли? — предложил Чаковнину князь, усаживаясь и протягивая ему золотую, осыпанную камнями табакерку.

— Спасибо, — ответил тот, — только свой нюхаю... Вот-с, может, моего угодно? — и он достал из кармана медную, тяжелую, огромную табакерку с простым зеленым табаком и, понюхав, подал ее князю.

— Дружба, значит, дружбой, а табачок врозь! — рассмеялся князь. — Ну, а винца стаканчик, холодненького, со льдом?

— Вот от винца не откажусь.

Князь повел глазом в сторону камергера, и тот, поспешно схватив кувшин, налил Чаковнину вина в стакан.

— Ну, князь, я на тебя не сержусь больше — Бог с тобой! За твоё здоровье пью, — сказал Чаковнин, взяв стакан.

Среди гостей пробежал неодобрительный шепот. Всем показалось, что князь передернулся и опять, на этот раз уж окончательно, рассердился на дерзкого приезжего и крикнул на самих гостей:

— Чего там разговариваете? Вести себя не умеете!.. Вы у меня поговорите



еще!

Все снова притихли.

Князь стал спрашивать своего нового гостя, откуда и куда он едет и много ли намерен провести времени в дороге. Тот отвечал уклончиво: сказал только, что был в своей вотчине, а теперь возвращается в Петербург.

Толстый дворецкий в голубой ливрее и пудре доложил, что кушать подано. Князь встал и, обратившись больше к одному Чаковнину, пригласил, опять изогнувшись:

— Милости прошу!..

Камергер и камер-юнкер пошли вперед, потом князь с Чаковниным, за ними секретарь, потом остальные гости целой толпою. Дам среди них не было.

Столовая — огромный зал с открытыми в сад высокими, начинавшимися от самого пола окнами — была, как оранжерея, уставлена растениями в кадках. Посредине был накрыт стол на шестьдесят кувертов с золотыми приборами, с гербовым сервизом и хрусталем. Как только уселись за стол, раздалась роговая музыка с хор.

Пред прибором князя, возле которого было указано место Чаковнину, лежало разрисованное меню с наименованием блюд, составлявших обед:

*«Похлебка из рябцев с пармезоном и каштанами.*

*Филейка большая по-султански.*

*Говяжья глаза в соусе.*

*Говяжья небная часть в золе с трюфелями.*

*Хвосты телячьи по-татарски.*

*Телячьи уши крошечные.*

*Баранья нога столитовая.*

*Гусь в обуви.*

*Бекасы с устрицами.*

*Гато из зеленого винограда.*

*Крем жирный, девичий».*

Кроме этих блюд князю подали оливку, приготовленную совершенно особым способом, как объяснил он, съедая ее с огромным удовольствием. Из этой оливки была вынута косточка и на место ее положен кусочек анчоуса. Оливкой начинен был жаворонок, заключенный в жирную перепелку, перепелка — в куропатку, куропатка — в фазана, фазан — в каплуна и каплун наконец — в поросенка. Все это жарилось на вертеле. Величайшую драгоценность в блюде составляла оливка, которая, находясь в середине, напитывалась тончайшими соками окружающих ее снадобий. Эту «драгоценность» и съел сам князь.

С Чаковниным он был все время очень любезен и разговорчив, но, когда вечером остался один в уборной со своими слугами, раздевавшими его под руководством камергера, несколько раз повторил, проворчав вслух:

— «Разведись со мной поединком, я не сержусь на тебя!» Ах ты, шут этакий породный! Я покажу тебе твое место!

В числе других приказаний, данных им в этот вечер, он велел «выдрать докрасна» (что значило до крови) гайдука Ивана на конюшне за «неуважение его к предметам искусства», вследствие которого «чуть было не разбили» дорогую мозаиковую крышку со столика на террасе.

## IV

Чаковнину была отведена комната во флигеле, которую показал ему старый дворовый, юркий человек с острым носом и бегающими карими глазами, блестящими, как черные агаты. Он называл себя просто Степанычем и обещал отзываться на эту кличку.

Комната была на двоих. По этому поводу Степаныч рассыпался в извинениях, добавив, что съезд нынче настолько велик, что уж волей-неволей приходится потесниться.

— Да мне все равно, — успокоил его Чаковнин. — Кто ж такой мой сожитель?

— Труворов Никита Игнатьевич, — пояснил Степаныч, — барин весьма обходительный и вальяжный.

Что, собственно, понимал он под этим словом, для Чаковнина так и осталось неразъясненным.

«Вальяжный» барин стоял в одном камзоле, когда вошел Чаковнин.

— Ну, что там, какой там!.. — протянул он нараспев в ответ на приветствие.

— Я имею честь разговаривать с господином Труворовым? — переспросил, настаивая, Чаковнин.

— Ну, что там, все равно там! — ответил тот опять и так дружелюбно и ласково улыбнулся, что эта улыбка сразу расположила к нему нового знакомого.

Было что-то детски наивное и во взгляде, и в как бы удивленно поднятых бровях Труворова, и в особенности во всем его добродушном толстом лице с полуоткрытым ртом, как у грудного младенца. Говоря, он так торопился, пуская пузыри изо рта, что, казалось, хотел слишком много сказать сразу и потому ему слов не хватало, и ничего не мог выразить.

— В котором часу вставать изволите? — суетился Степаныч вокруг Чаковнина. — Вы прикажите только — я к тому часу и платье почищу, и сапоги, и горячего принесу, чего пожелаете: сбитню там или шоколаду, или и кофею даже, потому у нас сам князь кофе кушать изволят и гостям предоставляют лакомство это, сколько кому угодно.

Чаковнин сказал, что ничего ему не нужно, что проснется он и встанет без помощи Степаныча и платье вычистит сам, а будет пить то, что дадут ему, лучше всего молока стакан.

— Как можно молока! — стал возражать Степаныч. — У нас и кофе со сливками сколько угодно... А вот ежели ночью испить захотите, так тут на століке у изголовья графинчик с кваском поставлен...

Насилу Чаковнин отделался от него. Степаныч все предлагал свои услуги, чтобы помочь раздеться. Ушел он лишь тогда, когда Чаковнин раз десять повторил ему, что благодарит и совершенно в нем не нуждается.

Белье на постели было хорошего полотна. На тюфяке лежала высоко взбитая пуховая перина, гора подушек высилась пирамидой.

Чаковнин стащил перину и подушки на пол и достал себе из своего дорожно-го вьюка приплюснутую кожаную подушку.

Устроившись таким образом, он приготовился было лечь, как вдруг его внимание привлекла сложенная в несколько раз бумажка, лежавшая на полу и, вероятно, выпавшая из постели, которую разворотил он. Он поднял ее, развернул

и прочел:

«Берегитесь пить что-нибудь, ежели подадут вам отдельно. Не пробуйте кваса со столика. Будьте осторожны со Степанычем».

Чаковнин прочел, повертел записку, перечел еще раз и опять повертел, точно это могло разъяснить ему, кто был неведомый друг, предупреждавший его, покопался на рекомендованный Степанычем графин с квасом и поглядел на улегшегося уже в свою постель на перину Труворова.

«Уж не его ли эта записка? — пришло в голову Чаковнину. — А может, и его надо опасаться тоже?» — сейчас же усомнился он и окликнул своего сожителя:

— Никита Игнатьевич, вы спите?

Утонувший в перине Труворов был закутан с головою в простыню, из-под которой торчал только его белый колпак с кисточкой.

— Ну, что там, какой там!.. — запел он из-под своей простыни.

— Слушайте, Никита Игнатьевич, я вас что-то не помню в числе гостей сегодня; вы не обедали, кажется, в столовой?

— Ну, что там в столовой, какой там! — отозвался сонным голосом Труворов.

— Однако ж я так полагаю, что вы в таких же гостях здесь, как и я, а не присный у князя?

— Ну, что там в гостях! Конечно, в гостях! Какой там присный!

— Значит, вы дворянин и помещик?

— Ну, что там? Ну, дворянин!

— И много имеете душ?

— Ну, что там душ... разбежались которые... а потом какой там... и потом, знаете, я не того... душ...

Чаковнин долго молчал, раздумывая и вертя записку в руках. Когда он поднял голову, Труворов, высвободив лицо, лежал на спине с открытым ртом, подняв свой маленький курносый носик, и всхлипывал, посвистывая им, как делают это спеленутые ребята. Чаковнин щипцами снял со свечи нагар, сжег записку и стал укладываться спать.

## V

На другой день Труворов проснулся до восхода солнца. В щели ставен, затворявших окна, не виднелось еще ни одной полоски света, и он, проснувшись, уставился в темноту широко открытыми глазами.

С ним это бывало. Временами на него находило нечто вроде спячки, когда он мог спать по пятнадцать часов в сутки без просыпа, и если поднимали его, то он чувствовал себя просто больным, при первой возможности ложился и засыпал. Но зато бывали промежутки, когда в течение двух-трех недель он беспричинно просыпался и, сколько бы ни лежал, не мог уже заснуть. Так было и теперь с ним.

Состояние этой бессонницы всегда казалось ему мучительным. Единственным средством было подняться скорее с постели и идти на воздух.

Никита Игнатьевич знал, что, сколько бы ни лежал он, все равно не заснет. Он спустил ноги с кровати, нашел ими туфли и стал одеваться ошупью.

Завозившись в темноте, он сейчас же наткнулся на стул, загремел им и громко произнес:

— Ай, кажется, разбудил!

Он прислушался, обернувшись в ту сторону, где, по его предположению, была кровать Чаковнина, и успокоился.

— Нет, не разбудил. Вот и отлично, что не разбудил. Ну, что там разбудил? — стал повторять он и опять задел за стул, причем на этот раз с грохотом повалил его. — Ну, вот, теперь разбудил!.. Александр Ильич, Александр Ильич, — принялся звать его, — я разбудил вас?

Чаковнин издал мычание.

— Я разбудил вас, Александр Ильич?

— Не-ет, отстаньте!

— Ну, тогда хорошо, спите, спите!..

Труворов был почти уже одет и шарил теперь руками, чтобы найти свой шлафрок, но, как на грех, попадался ему то камзол, то кафтан. Наконец шлафрок был найден, надет, и Труворов двинулся, выставив руки, чтобы отыскать дверь. Свечу он не хотел зажигать, чтобы не беспокоить сожителя. Однако вместо двери он набрел на кровать Чаковнина, толкнулся о нее ногами, не удержал равновесия и уперся в Александра Ильича руками.

— Ну, вот, опять разбудил! — с отчаянием проговорил он. — Александр Ильич, я вас опять разбудил.

— Да отстаньте вы от меня! — хриплым спросонья голосом огрызнулся Чаковнин.

— Ну, вот, чего там отстаньте!.. Спите, говорят вам, спите, а я купаться иду!

— Да хоть топиться, ну вас совсем!

— Ну вот, уж и топиться! Чего там топиться?.. Сейчас уж и топиться! — заворчал Труворов, нащупал дверь и вышел из комнаты.

В длинном полотняном шлафроке, с колпаком на голове, он отправился прямо на реку.

Дни стояли августовские, но теплые. Близость осени ощущалась только по поспевшим плодам да множеству дичи. Осенних неприятностей в виде дождей и холодов еще не было и помину. Время было самое приятное.